

СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВ
кандидат исторических наук

ПУШКИН И БОЛДИНСКИЙ КАРАНТИН

Советы поэта во время эпидемии 1830 года

*...Не хандри — холера на днях пройдёт,
были бы мы живы, будем когда-нибудь и веселы...*

А. С. Пушкин, 1831

*Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые...*

Ф. И. Тютчев, 1836

1. Почему Пушкин стал злободневен при коронавирусе?

Эпидемия коронавируса, как из ряда вон выходящее событие, не могла не вызвать волну мифотворчества, том числе и на просторах интернета. И вот там уже появились стихи, приписываемые не кому иному, а именно А. С. Пушкину, написанные им якобы в Болдино во время эпидемии холеры. Вот так начинается одно из них:

*Мой друг, пора на хутора!
Там средь унылой, серой хери
Нет преопаснейших бактерий
Для нашего с тобой нутра...*

Ясно, что это совсем не пушкинской слог, как и в другом стихотворении, обманувшем тысячи доверчивых читателей, поверивших, что это строки Пушкина:

*Позвольте, жители страны,
В часы душевного мученья
Поздравить вас из заточенья
С великим праздником весны!*

*Всё утрясётся, всё пройдёт,
Уйдут печали и тревоги,*

*Вновь станут гладкими дороги,
И сад, как прежде, зацветёт...*

*На помощь разум призовём,
Сметём болезни силой знаний
И дни тяжёлых испытаний
Одной семьёй переживём.*

К Пушкину часто прибегали мистификаторы и раньше. Ещё в 1832 году в статье “Несколько слов о Пушкине” Н. В. Гоголь выступил с опровержением авторства нескольких стихотворений, приписывавшихся поэту: “Под именем Пушкина рассеивалось множество самых нелепых стихов. Это обыкновенная участь таланта, пользующегося сильной известностью. Это вначале смешит, но после бывает досадно, когда, наконец, выходишь из молодости и видишь эти глупости непрекращающимися. Таким образом, начали, наконец, Пушкину приписывать “Лекарство от холеры”...” Любопытно, что в ранней редакции “Ревизора” Гоголь поместил позднее снятую им из комедии реплику Хлестакова: “А как странно сочиняет Пушкин. Вообразите себе, перед ним стоит в стакане ром, славнейший ром, рублей по сту бутылка, какова только для одного Австрийского императора берегут, и потом уж как начнет писать, так перо только: тр...тр...тр... Недавно он такую написал пиэсу “Лекарство от холеры”, что просто волосы дыбом становятся. У нас один чиновник с ума сошёл, когда прочитал. Того же самого дня приехала за ним кибитка и взяли его в больницу”.

Теперь с клонированием Пушкина всё опять повторяется. Конечно, в некоторой степени даже похвально, что внимание людей в нынешние суровые времена вновь привлекает к себе “солнце русской поэзии”, но почему бы не обратиться к его настоящим стихам и к его реальной эпопее с холерной эпидемией. Тем более что это очень поучительно для нас, переживающих сегодня, в эпоху коронавируса, схожие по накалу страстей моменты. Попробуем окунуться в те далёкие дни 190-летней давности, когда в 1830 году в России началась первая масштабная эпидемия почти не известной ранее в стране холеры – самого смертоносного инфекционного заболевания XIX века, вибрион которого удалось выделить медикам только в 1854 году, а действенные вакцины от этой заразы появятся и вообще только в начале XX века.

Эпидемии холеры – острого кишечного заболевания, зародившегося впервые где-то в Бенгалии, – продолжались в Евразии почти целый век, с 1816-го по 1923 годы. А на территории России холера была впервые массово зафиксирована в 1823 году в Астрахани, но потом в течение 6 лет она появлялась там же и в некоторых других местах лишь изредка. Однако в 1829 году в долине Ганга началась теперь уже настоящая, почти всемирная, пандемия холеры, перебросившаяся в Персию и Османскую империю, оттуда в Грузию, вновь в Астрахань, а потом в Оренбург и на Южный Урал, где уже в 1829 году было зафиксировано несколько сот смертей. Быстрому распространению холеры способствовало возвращение домой солдат русской армии с фронтов двух следовавших друг за другом войн – Русско-персидской 1826–1828 годов и Русско-турецкой 1828–1829 годов, охвативших значительные территории и десятки тысячи людей.

Напомним, что в первой из этих войн важную роль сыграл А. С. Грибоедов (о его “малярийно-чумных” злоключениях следовало бы потом рассказать особо), а во второй поучаствовал и сам Пушкин, совершивший свой знаменитый побег в Арзрум (Эрзурум) и переживший в то время встречу с ещё одной “азиатской заразой” – чумой, – которую долго путали в России с холерой.

Первый раз в жизни Пушкину пришлось встретиться с тяжёлой болезнью ещё во время его путешествия на Кавказ с Раевскими, а именно на Горячих водах летом 1820 года, когда его “схватила” малярия. Выздоровев от неё, Пушкин написал: “Я ускользнул от Эскулапа, // Худой, обритый, но живой. // Его мучительная лапа // Не тяготеет надо мной”. С тех пор поэт не очень-то жаловал докторов с их рвением и садизмом. В 1820 году лечивший его лейб-медик Я. Лейтон употреблял “меры чрезвычайные, в частности, сажал в ванну со льдом” и “за жизнь не ручался”. Пушкин рассказывал, что “лекарь обещал меня не уморить сразу”, и написал о нём едкую эпиграмму: “Аптеку позабудь ты для венков лавровых, // И не мори больных, но усыпляй здоровых...”.

Позднее поэт не раз вспоминал обобщённый образ лекаря, который “морит – за деньги, за деньги, за деньги”, называя явным признаком нынешней эпохи то, что “мучат смертных лекаря”.

Удивительно, что Пушкину, который всегда интересовался медицинскими вопросами и врачебными практиками, было известно о холере ещё задолго до эпидемии в Москве 1830 года. Об этом сам поэт рассказал в своей заметке “О холере”, написанной в Болдино и показывающей, какие жизненные перипетии приходилось испытывать автору “Евгения Онегина”:

“В конце 1826 года я часто видался с одним дерптским студентом (ныне он гусарский офицер и променял свои немецкие книги, своё пиво, свои молодые поединки на гнедую лошадь и на польские грязи. (*Здесь Пушкин имел в виду своего приятеля А. Вульфа. – С. Д.*). Он много знал, чему научаются в университетах, между тем как мы с вами выучились танцевать. Разговор его был прост и важен. Он имел обо всём затверженное понятие в ожидании собственной поверки. Его занимали такие предметы, о которых я и не помышлял. Однажды, играя со мною в шахматы и дав конём мат моему королю и королеве, он мне сказал при том: “Cholera-morbus подошла к нашим границам и через пять лет будет у нас”.

О холере имел я довольно тёмное понятие, хотя в 1822 году старая молдавская княгиня, набелённая и нарумяненная, умерла при мне в этой болезни. Я стал его расспрашивать. Студент объяснил мне, что холера есть поветрие, что в Индии она поразила не только людей, но и животных, но и самые растения, что она жёлтой полосой стелется вверх по течению рек, что по мнению некоторых она зарождается от гнилых плодов и прочее – всё, чему после мы успели наслышаться.

Таким образом, в дальнем уезде Псковской губернии молодой студент и ваш покорнейший слуга, вероятно одни во всей России, беседовали о бедствии, которое через пять лет сделалось мыслию всей Европы”.

Получается, что Пушкин столкнулся с холерой ещё в далёком 1822 году и рассуждал о ней в 1826-м. В том же 1822 году с холерой познакомился и Грибоедов, о чём свидетельствует его откровенное письмо В. К. Кюхельбекеру из Тифлиса: “Умерли: Наумов, Юргенсон и мишхарбаш Бебутов, Шпренгель etc, etc... С тех пор налегла на меня необъяснимая мрачность... Пожалей обо мне, добрый мой друг! Помяни Амлиха, верного моего спутника в течение 15-ти лет. Его уже нет на свете. Потом Щербаков приехал из Персии и страдал на руках у меня; вышел я на несколько часов, вернулся, его уже в гроб клали. Кого ещё скосит смерть из приятелей и знакомых? А весной, конечно, привлечётся сюда cholera morbus, которую прошлого года зимний холод остановил на нашей границе. Трезвые умы, Коцебу, например, обвиняют меня в малодушии, как будто сам я боюсь в землю лечь; других жаль сторицею пуще себя”.

Грибоедов, несколько раз болевший “жестокой малярийной лихорадкой”, именно на Востоке ощутил “прелести” заморских инфекций, среди которых тогда господствовала чума. Вспомним, что с чумой встретился в 1829 году и Пушкин, проявив столь свойственную ему храбрость. О том, что впереди по пути следования в действующую армию Паскевича его ждёт чумная опасность, поэт узнал в середине июня, как раз после встречи с останками Грибоедова на арбе, когда он встретил “армянского попа”, ехавшего в Ахалцих из Эривани: “Что именно нового в Эривани? – спросил я его. – В Эривани чума, – отвечал он”. И чума не заставила себя ждать.

В середине июля, как писал Пушкин, “возвращаясь во дворец, узнал я от Коновницына, стоявшего в карауле, что в Арзруме открылась чума. Мне тотчас представились ужасы карантина, и я в тот же день решил оставить армию. Мысль о присутствии чумы очень неприятна с непривычки. Желая изгладить это впечатление, я пошёл гулять по базару. Остановясь перед лавкою оружейного мастера, я стал рассматривать какой-то кинжал, как вдруг кто-то ударил меня по плечу. Я оглянулся: за мною стоял ужасный нищий. Он был бледен как смерть; из красных загноенных глаз его текли слёзы. Мысль о чуме опять мелькнула в моём воображении. Я оттолкнул нищего с чувством отвращения неизъяснимого и воротился домой очень недовольный своею прогулкою”.

Но Пушкин не был бы Пушкиным, если бы не сделал того, что можно было бы назвать безрассудством и за что уж точно полагался бы долгий карантин: “Любопытство однако ж превозмогло; на другой день я отправился с лекарем в лагерь, где находились зачумлённые. Я не сошёл с лошади и взял предосторожность стать по ветру. Из палатки вывели нам больного; он был чрезвычайно бледен и шатался, как пьяный. Другой больной лежал без памяти. Осмотрев чумного и обещав несчастному скорое выздоровление, я обратил внимание на двух турков, которые выводили его под руки, раздевали, щупали, как будто чума была не что иное, как насморк. Признаюсь, я устыдился моей европейской робости в присутствии такого равнодушия и поскорее возвратился в город”.

Увидев зримо ужасы чумы, Пушкин правильно сделал, что срочно выехал из армии, он спешил миновать возникавшие вокруг карантины, и ему посчастливилось только один раз попасть в такой карантин во время своего одиннадцатидневного пути до столицы Грузии, в Гумри, на российско-турецкой границе, и непонятно каким образом просидеть там не принятые обычно для этого 14 дней, а только трое суток. Видимо, ему удалось как-то уговорить начальство отпустить его раньше времени. “В Гумрах выдержал я трёхдневный карантин”, — написал Пушкин в “Путешествии в Арзрум”, не оставив нам деталей этого пребывания. И факт остаётся фактом, что свой первый карантин в жизни он пережил за 1 год и 3 месяца до холерного карантина 1830 года в Болдино. Известен колоритный автопортрет поэта в профиль с монограммой “АП” и надписью, сделанной чужой рукой: “писанный им самим во время горестного его заключения в карантине Гумранском, 1829 год 28 июля”.

2. Пушкин на пути к Болдинскому карантину

В написанном в Болдино в 1830 году стихотворении “Румяный критик мой...”, давая отповедь, в первую очередь, Ф. Булгарину за его критику “Евгения Онегина”, Пушкин так вспомнил о своём карантине в Гумрах:

*Куда же ты? — В Москву, чтоб графских именин
Мне здесь не прогулять.
— Постой, а карантин!
Ведь в нашей стороне индийская зараза.
Сиди, как у ворот угрюмого Кавказа
Бывало сиживал покорный твой слуга:
Что, брат? Уж не трунишь, тоска берёт — ага!*

Арзрумский, “немного бесшабашный” опыт повлиял на поведение Пушкина во время эпидемии холеры, которой он поначалу не очень-то и боялся. Ещё не отправившись в Болдино, поэт, живший в Москве у своего друга П. А. Вяземского, узнал от него, что холера уже подступила к Нижегородчине, куда направлялся Пушкин, но это ничуть не остановило его именно из-за “равнодушия”, полученного во время пребывания в Азии. Сам поэт так вспоминал об этом повороте в своей судьбе: “Спустя пять лет я был в Москве, и домашние обстоятельства требовали непременно моего присутствия в нижегородской деревне. Перед моим отъездом Вяземский показал мне письмо, только что им полученное: ему писали о холере, уже перелетевшей из Астраханской губернии в Саратовскую. По всему видно было, что она не минует и Нижегородской (о Москве мы ещё не беспокоились). **Я поехал с равнодушием, коим был обязан пребыванию моему между азиатцами. Они не боятся чумы, полагаясь на судьбу и на известные предосторожности**, а в моём воображении холера относилась к чуме, как элегия к дифирамбу.

Приятели (у коих дела были в порядке или в привычном беспорядке, что совершенно одно) упрекали меня за то и важно говорили, что **легкомысленное бесчувствие не есть ещё истинное мужество**”.

Очень интересные воспоминания оставил писатель М. Н. Макаров (1789–1847), который донёс до нас его прелюбопытный разговор с Пушкиным, состоявшийся ещё 20 августа 1830 года: “В последний раз я встретил Александра Сергеевича на похоронах доброго Василия Львовича. С приметною грустью молодой Пушкин шёл за гробом своего дяди; он скорбел о нём как

о родственнике и как о поэте. И. И. Дмитриев, подозревая причину кончины Василия Львовича холеру, не входил в ту комнату, где отпевали покойника. Александр Сергеевич уверял, что холера не имеет прилипчивости, и, отнесясь ко мне, спросил: **“Да не боитесь ли и вы холеры?” Я отвечал, что боялся бы, но этой болезни ещё не понимаю. “Не мудрено, вы служите подле медиков. Знаете ли, что даже и медики не скоро поймут холеру. Тут всё лекарство один courage, courage, и больше ничего”**. Я указал ему на словесное мнение Ф. А. Гильтебранта, который почти то же говорил. “О да! Гильтебрантов немного”, — заметил Пушкин. Именно так было, когда я служил по делам о холере. Пушкинское магическое слово courage (храбрость, бесстрашие. — фр.) спасло многих от холеры”.

Последние исследования медиков и психологов доказывают, что психическое состояние человека, его готовность к противодействию опасности, оптимистический настрой серьёзно влияют на иммунитет человека, на его восприимчивость к инфекциям и болезням. Получается, что Пушкин ещё 190 лет назад подсознательно понимал важность “куража и бесстрашия” в борьбе с холерой, которые, конечно, не должны были противоречить элементарным правилам гигиены и правильного поведения в повседневной жизни. (Думаю, что и сегодня “лекарство куража” действует в условиях коронавируса, и это особенно касается стов медиков, ежедневно сталкивающихся с больными!).

Уже на пути в Болдино Пушкин увидел приметы надвигающейся холеры: “На дороге встретил я Макарьевскую ярманку, прогнанную холерой. Бедная ярманка! она бежала, как пойманная воровка, разбросав половину своих товаров, не успев пересчитать свои барыши! Воротиться казалось мне малодушием; я поехал далее, как, может быть, случилось вам ехать на поединок: с досадой и большой неохотой.

Едва успел я приехать, как узнаю, что около меня оцепляют деревни, учреждаются карантинны. **Народ ропщет, не понимая строгой необходимости и предпочитая зло неизвестности и загадочное непривычному своему стеснению.** Мятажи вспыхивают то здесь, то там”.

Вот так Пушкин очутился в плену, который обернулся самым фантастическим взлётом в его творчестве. А что же заставило поэта отправиться за 540 верст от Москвы? Дела житейские... Дело в том, что весной 1830 года поэт получил, наконец, согласие на его свадьбу с Натальей Гончаровой и должен был подготовиться к этому знаменательному событию. Отец выделил ему деревню Кистенёво с двумястами душами крестьян, и Пушкину следовало вступить в её владение. Он планировал после этого заложить её в Опекунском совете, а вырученные деньги использовать на приданое, которое он обещал дать в долг матери невесты, на организацию свадьбы и своего дальнейшего быта. К этому обстоятельству добавилась смерть в Москве 20 августа 1830 года дяди поэта Василия Львовича Пушкина. Поэту пришлось взять на себя все хлопоты и затраты по похоронам родственника, и, конечно, свадьбу пришлось в связи с этим отложить. А накануне отъезда поэт опять поссорился с матерью невесты и стал считать свадьбу почти расстроенной. 31 августа в письме к другу П. А. Плетнёву Пушкин так выразил своё тяжёлое настроение: “...У меня на душе: грустно, тоска, тоска... Осень подходит. Это любимое моё время — ...пора моих литературных трудов настанёт, — а я должен хлопотать о приданом да о свадьбе, которую сыграем Бог весть когда... Еду в деревню, Бог весть буду ли там иметь время... и душевное спокойствие, без которого ничего не произведёшь, кроме эпиграмм на Каченовского”.

Никогда не знаешь, что ждёт тебя впереди! И времени для творчества выпадет вскоре Пушкину более чем достаточно, и душевное равновесие у него всё-таки появится, несмотря на все страсти, кипевшие вокруг. Поэт выехал из Москвы 1 сентября 1830 года и впервые въехал в нижегородскую вотчину Пушкиных 4 сентября. И он не мог знать, что уже через несколько дней, 9 сентября, в стране будет образована Центральная комиссия для пресечения холеры. В крупных городах начали разворачивать временные холерные больницы, а возглавить борьбу с холерой Николай I поручил министру внутренних дел А. А. Закревскому, который, в первую очередь, как писали современники, “принял очень энергичные, но совершенно нелепые меры, всю Россию изгородил карантинными, — они совершенно парализовали хозяйственную жизнь страны, а эпидемии не остановили”. Тысячи людей с лошадьми, товарами задерживались у многочисленных застав и должны были высиживать карантинны.

В тех, кто пытался без спроса пробираться через оцепления, приказано было стрелять. Всё это вызывало недовольство населения, перераставшее в некоторых местах в холерные бунты, как это произошло в 1830 году в Тамбове и Севастополе, где восставшие даже на несколько дней захватили власть в городе.

Напомним, что первые чумные карантинные возникли в Венеции в 1348 году: всех, прибывших тогда из мест, где свирепствовала чума, помещали в специально выстроенные дома на 40 дней. Итальянское слово *quarantena* означает именно 40 дней (*quaranta giorni*). Потом практика введения карантинных, в том числе в России, привела к устоявшемуся для них опытным путём сроку в 14 дней, причём этот срок следовало соблюдать на каждом карантинном, встречавшемся на пути. Чиновникам, заведовавшим карантинными заставами в 1830 году, было “приказано пропускать при 14-дневном карантинном очищении только едущих в каретах и колясках; весь же прочий люд, как пеших, так и едущих в телегах, кибитках и подобных тому повозках и обозах, останавливать и отсылать назад независимо от цели их поездки”. Такова была характерная примета России того времени: богатым были сделаны послабления и поправки!

3. Эпидемия холеры в Москве

В Москве начали заболевать холерой ещё в сентябре 1830 года, к октябрю число жертв составило более ста человек, а в конце этого месяца каждый день заражалось уже по 100 человек в день. Власти принимали все возможные меры для борьбы с эпидемией. В Москве был введён строгий карантин, город был оцеплен войсками, все въезды и выезды были перекрыты. В городе закрылись правительственные учреждения, фабрики, учебные заведения и театры. Улицы города опустели. Москвичи жгли листву и всё то, что давало много дыма, считая, что это спасает от распространения инфекции. Дома обрабатывали хлорной известью. По городу разъезжали кареты с больными в сопровождении полиции и страшные чёрные фуры с телами погибших.

В городе сложилась гнетущая атмосфера, все разговоры были только о холере и о том, кто заболел и кто умер. Горожане стали бояться ходить в храмы. 17 сентября 1830 года митрополит Московский Филарет писал в одном из писем: “Напрасно более бояться молитвы, нежели болезни. Неужели молитва вреднее болезни? Пережив три холеры прежде нынешней, я видел довольно опытов, что, где усиливалась молитва, там болезнь ослабевала и прекращалась”. Филарет, призывавший горожан к покаянию, 25 сентября отслужил молебен об избавлении от болезни в Успенском соборе, затем совершил крестный ход вокруг Кремля. Крестные ходы продолжались и в отдельных приходах города. Митрополит учредил Московский архиерейский временный комитет помощи нуждающимся, и по его призыву многие состоятельные люди делали значительные пожертвования, в том числе Николай I, дворяне Голицыны, Шереметевы, Самарины, Пашковы, купцы Аксёновы, Лепёшкины, Рыбниковы и многие другие.

По распоряжению властей в городе издавалась газета “Ведомости о состоянии города Москвы”, дававшая информацию о числе заболевших, умерших и выздоровевших. Эти “холерные листы” (106 выпусков), выходившие часто на четвертушках серой бумаги, издавались под редакцией профессора Московского университета М. П. Погодина и распространялись бесплатно. Они действительно успокаивали население, о чём свидетельствует одно из писем А. С. Хомякова: “Даже в 12-м году не с большим нетерпением ожидали газет, чем мы ваших бюллетеней”.

Однако устная молва передавала ещё больше сведений о холере, и, конечно, в самом преувеличенном масштабе. 30 октября это отметил П. А. Вяземский, который пережил дни эпидемии в своём подмосковном имении Остафьево: “Соберите все глупые сплетни, сказки, и не сплетни, и не сказки, которые распускались и распускаются в Москве на улицах и в домах по поводу холеры и нынешних обстоятельств, — выйдет хроника прелюбопытная. В этих сказках и сказках изображается дух народа... Стенографам и должно собирать её. В сплетнях общество не только выражается, но так и выхаркивается”. Жалко, что все эти сплетни и сказки остались не записанными. Вяземский отмечал лишь, что на городских заставах якобы поймали бежавших из Сибири декабристов с подвязанными бородами, а в своей “Старой записной

книжке” он ещё раз писал о том же: “На низших общественных ступенях холера не столько страха внушала, сколько недоверчивости. Простолюдin, верующий в благость Божию, не примиряется с действительностью естественных бедствий: он приписывает их злобе людской или каким-нибудь тайным видам начальства. Думали же в народе, что холера есть докторское или польское напущение”.

Как же конкретно боролись с холерой в Москве? Известно, что людей потчевали “вонючей хлористой извествью”, и такая диета, по словам А. И. Герцена, пережившего эпидемию, “одна без хлору и холеры могла свести человека в постель”. Популярным средством тогда стал так называемый “уксус четырёх разбойников”, в котором смешивали яблочный или винный уксус, измельченные травы вроде полыни, шалфея или мяты, чеснок, и все это настаивали несколько дней и потом употребляли. Немудрено, что чеснок вырос тогда в цене в 40 раз (заметим: почти так же, как и при коронавирусе!). Среди средств от холеры часто применялось окуривание комнат можжевеловым дымом.

Очевидица событий А. Панаева в своих мемуарах перечисляла самые нелепые средства оздоровления: “Находились такие субъекты, которые намазывали себе всё тело жиром кошки; у всех стояли настойки из красного перца. Пили деготь. Один господин каждый день пил по рюмке бычачьей крови”. В “Московском журнале” среди спасительных средств называлась дегтярная вода, окуривание марганцем, серной кислотой и солью. Москвичам советовали избегать тесных и сырых помещений, одеваться теплее.

Медики, не понимая, как лечить холеру, нередко ставили на себе опыты её “прилипчивости”, доказывая, что от неё можно излечиваться. Так поступил, в частности, доктор В. Пассек, описавший это в очерке “Три дня в Москве во время холеры”. Однако многие медики гибли от заражений, в том числе известные врачи Ф. Депп и М. Мудров. Уже к 13 ноября холерой заразились 4 500 москвичей, из них 2 340 умерли, а 818 уже выздоровели. К концу января 1831 года общее число пострадавших от болезни москвичей составляло 8 576 человек.

Генерал-губернатору Москвы князю Д. В. Голицыну удалось привлечь богатых горожан к опеке заболевших и организации для них около 20 больниц. Они располагались в самых разных зданиях и даже в знаменитом Доме Пашкова. “Купцы давали даром всё, что нужно для больниц: одеяла, бельё и тёплую одежду, которую оставляли выздоравливавшим. Университет не отстал. Весь медицинский факультет, студенты и лекаря en masse привели себя в распоряжение холерного комитета; их разослали по больницам, и они оставались там безвыходно до конца заразы. Три или четыре месяца эта чудная молодёжь прожила в больницах ординаторами, фельдшерами, сиделками, письмоводителями, и всё это без всякого вознаграждения, и притом в то время, когда так преувеличенно боялись заразы”, — писал А. И. Герцен, сравнивая эпидемию в Москве с парижской эпидемией 1849 года, когда “бедные люди мёрли как мухи”.

Карантин приходилось переживать многим знаменитым людям, например, В. Белинскому, сидевшему в изоляции со студентами-словесниками Московского университета, или А. Герцену, оставившему зарисовку того, какова была тогда московская жизнь: “Экипажей было меньше, мрачные толпы народа стояли на перекрёстках и толковали об отравителях. Кареты, возившие больных, двигались шагом, сопровождаемые полицейскими. Бюллетени о болезни печатались два раза в день. Город был оцеплен, как в военное время, и солдаты пристрелили какого-то бедного дьячка, пробиравшегося через реку. Всё это сильно занимало умы. Страх перед болезнью отнял страх перед властями, жители роптали...”

Холера оставила отпечаток и на творчестве юного М. Лермонтова, сидевшего на Малой Молчановке в доме своей бабушки. 5 октября Михаил написал стихотворение “Смерть бойца”, оставив под ним подпись “Во время холеры morbus”:

*Хотя певец земли родной
Не раз уж пел об нём,
Но песнь — всё песнь; а жизнь — всё жизнь!
Он спит последним сном*

Ещё через несколько дней – вновь стихотворение, и опять с названием “Смерть” и описанием героя, стремящегося “только дальше, дальше от людей”.

Заметную и драматическую роль в событиях московской эпидемии сыграл император Николай I, который, узнав о её начале в Петербурге 24 сентября, в тот же день написал Д. В. Голицыну: “Уведомляйте меня эстафетами о ходе болезни... Я приеду делить с вами опасности и труды”. Напомним, что бабушка императора Екатерина II во время эпидемии чумы 1771 года так и не посетила Москву, а её внук пошёл на беспрецедентный риск, стремясь успокоить граждан первопрестольной. Именно он своим указом ввёл карантин в Москве: “Государь... к скорейшему прекращению заразной болезни холеры в Москве соизволил признать нужным, чтоб сия столица с 1-го октября на некоторое время была оцеплена и никто из оной выпускаем, а равно и впускаем в оную не был, кроме следующих с жизненными и другими припасами”. Прибыв в Москву 29 сентября, государь оставался там до 7 октября, чем предотвратил распространение в городе паники и хаоса.

В эти дни император лично проверял соблюдение противохолерных мер и организацию лечения заболевших. “Государь сам наблюдал, как по его приказаниям устраивались больницы в разных частях города, отдавал повеления о снабжении Москвы жизненными потребностями, о денежных вспомоществованиях неимущим, об учреждении приютов для детей, у которых болезнь похитила родителей, беспрестанно показывался на улицах; посещал холерные палаты в госпиталях”, – вспоминал позднее А. Х. Бенкендорф. Император даже обходил торговые ряды, убеждая купцов не торговать фруктами и плодами, которые могли быть заражены.

Мужественное поведение императора вызвало горячее одобрение подданных, в том числе поэтов. Так, старый и уже слепой, хотя и не очень известный поэт Н. М. Шатров оставил такие восторженные строки:

*Царь-Отец Сам приезжает
С нами страх и труд делить,
Сам везде распоряжает
И готов на всех пролить
Милостей возможных море,
Чтоб утешить в общем горе
Страждущих детей Своих,
Положить скорбям пределы,
Притупить заразы стрелы
И спасти Москву от них*

Митрополит Филарет встретил императора в Москве следующими словами: “Ты являешься среди нас как царь подвигов, чтобы опасности с народом твоим разделять”, – а П. А. Вяземский в эти же дни так оценил поступок государя: “Приезд государя в Москву есть точно прекраснейшая черта. Тут есть не только небоязнь смерти, но есть и вдохновение, и преданность, и какое-то христианское и царское рыцарство, которое очень к лицу владыке”. Не обошёл стороной эту тему и Пушкин, написавший в Болдино стихотворение “Герой”, которое автор специально подписал: “29 сентября 1830 года. Москва”, хотя написал он его месяцем позже. Поэт сравнивал, по сути, легендарное посещение Наполеоном чумного госпиталя в Яффе с приездом в Москву Николая I, утверждая позднее, что “великодушное посещение государя воодушевило Москву, но он не мог быть одновременно во всех 16-ти заражённых губерниях”.

Поэт в стихотворении “Герой” говорит в диалоге с другом:

*Не та картина предо мною!
Одров я вижу длинный строй,
Лежит на каждом труп живой,
Клеймённый мощною чумою,
Царицею болезней... он,
Не бранной смертью окружён,*

*Нахмурясь ходит меж одрами
И хладно руку жмёт чуме
И в погибающем уме
Рождает бодрость... Небесами
Клянусь: кто жизньнюю своей
Играл пред сумрачным недугом,
Чтоб ободрить угасший взор,
Клянусь, тот будет небу другом,
Каков бы ни был приговор
Земли слепой...*

И завершил Пушкин свой стих, по сути, провозгласивший императора Николая I “другом неба” и героем, известной сентенцией о природе власти:

*Тьмы низких истин мне дороже
Нас возвышающий обман...
Оставь герою сердце! Что же
Он будет без него? Тиран...*

Вот тебе и Николай Палкин! Мы видим здесь, правда и в косвенном виде, совсем иной портрет во многом оболганного в нашей истории императора, к которому Пушкин относился и с уважением, и с добрыми чувствами за его дела на благо страны, многих людей и за помощь самому поэту. В начале ноября 1830 года Пушкин в письме к П. А. Вяземскому ещё раз скажет о подвиге Николая I: “Каков государь? Молодец! Того и гляди, что наших каторжников простит...” А 24 февраля 1831 года в письме к Плетнёву, похвалив государя за благодеяние по отношению к Н. И. Гнедичу, автору перевода гомеровской “Илиады”, Пушкин напишет: “Оно делает честь Государю, которого искренне люблю и за которого всегда радуюсь, когда поступает он “умно и по-царски”.

А теперь обратимся к тому, что же происходило осенью 1830 года в самом Болдино и что советует нам сегодня из далёкого далёка, из карантинной самоизоляции великий Пушкин.

4. Болдинские испытания Пушкина

В мировой истории есть примеры того, как знаменитые люди во время различных карантинных, в том числе чумных и холерных, умудрялись творить и дарить человечеству великие творения. Вспомним хотя бы Лукиана, написавшего в 165 году во время чумной эпидемии своего “Александра, или Лже-пророка”, Джованни Бокаччо с его великим “Декамероном”, написанным примерно в 1352–1354 годах во Флоренции, Уильяма Шекспира, создавшего в 1605–1606 годах свои бессмертные трагедии “Король Лир”, “Макбет”, “Антоний и Клеопатра”, Джона Милтона, закончившего во время такой же эпидемии 1665–1666 годов свой знаменитый “Потерянный рай”, и Антона Чехова, трудившегося в качестве врача во время эпидемии холеры и написавшего в те суровые дни немало рассказов. Однако никто из перечисленных писателей не сможет соревноваться по объёму и разнообразию написанного Пушкиным в дни его Болдинской осени, длившейся не так уж и много – всего около 80 дней, не считая времени, потерянного на дорогу туда и обратно и на выезды из имения, которые заняли не менее 5–6 дней.

“Скажу тебе (за тайну), что я в Болдине писал, как давно уже не писал, – так сам Пушкин рассказывал о своём творческом порыве в переписке со своим другом Плетнёвым. – Вот что я привёз сюда: 2 последние главы Онегина, 8-ю и 9-ю, совсем готовые в печать. Повесть, писанную октавами (стихов 400), которую выдадим Анопуге. (Имеется в виду “Домик в Коломне”. – С. Д.) Несколько драматических сцен, или маленьких трагедий. Именно: “Скупой Рыцарь”, “Моцарт и Сальери”, “Пир во время чумы” и “Д. Жуан”. Сверх того написал около 30 мелких стихотворений. Хорошо? Ещё не всё: написал я прозой 5 повестей, от которых Баратынский ржёт и бьётся...”

Пушкин имел здесь в виду свои знаменитые “Повести Белкина”. И к этому списку творений следует добавить 10-ю, уничтоженную, но одновременно

и зашифрованную Пушкиным главу “Евгения Онегина”, “Сказку о попе и о работнике его Балде”, “Сказку о медведихе”, целый ряд литературно-критических заметок и много писем. Получается, что, не случись тогда вспышки холеры, наследие Пушкина было бы менее впечатляющим! **Отсюда следует первый совет, который передал нам сквозь время Пушкин: несмотря ни на какие эпидемии, сложности и испытания, надо трудиться и творить!**

Конечно, карантин поэта в Болдино не очень-то напоминает то, что испытывают сегодня в городах спасающиеся от коронавируса люди. У Пушкина была свобода действий в рамках имения и природных окрестностей, и он не зря оставил о своём заточении такие бодрые слова: “Ах, мой милый! что за прелесть здешняя деревня! вообрази: степь да степь; соседей ни души; ездди верхом сколько душе угодно, пиши дома сколько вздумается, никто не помешает”. Как тут поэту было не “наготовить всякой всячины, прозы и стихов”, как он сам выражался!

Справедливости ради следует уточнить, что почти весь сентябрь, — а это более 25 дней, почти треть всей Болдинской осени, — поэт в Болдино держала не холера, а самые прозаические дела. Приехав туда, он сразу подал прошение о вступлении во владение сельцом Кистенёво, но выяснилось, что поэт мог претендовать только на часть имения — 200 из 500 душ, и требовалось оформить их в индивидуальную собственность. И вот 16 сентября кистенёвские крестьяне присягнули своему новому владельцу, а ещё через две недели было готово свидетельство о правах собственности, что позволило поэту позднее заложить имение в Опекунском совете за 40 000 рублей и тем самым решить, хоть и на краткое время, свои денежные проблемы накануне свадьбы, пустив часть этих денег на приданое (11 000 руб.). К началу октября поэту можно было бы уезжать из Болдино, но “неведомый ранее зверь” уже вступил в свои права. Ещё 9 сентября Пушкин написал о нём Плетнёву, вспомнив при этом о своём недавно умершем дяде и намекнув на “пахнүвшее на него” дыхание смерти: “. . . Приехал я в деревню и отдыхаю. Около меня **колера морбус**. Знаешь ли, что это за зверь? Того и гляди, что забежит он и в Болдино да всех нас перекусает — того и гляди, что к дяде Василью отправлюсь, а ты и пиши мою биографию”.

Как видим, чувство юмора и иронию поэт совсем не терял в те тревожные дни, оставив нам **свой второй завет — использовать чувство юмора для укрепления духа!** В письме к своей невесте Пушкин даже назвал как-то холеру “миленькой особой”: “Ещё более опасаясь я карантинных, которые начинают здесь устанавливаться. **У нас в окрестностях — Cholera morbus (очень миленькая особа)**. И она может задержать меня ещё дней на двадцать!” А вот образец самоиронии поэта над своими свадебными тревогами в письме к Плетнёву от 9 сентября: “Ты не можешь вообразить, как весело удрать от невесты, да и засесть стихи писать. Жена не то, что невеста. Куда! Жена свой брат. При ней пиши сколько хошь. А невеста пуще цензора Щеглова, язык и руки связывает. . .”

Даже с самой невестой поэт позволял себе тогда шутить, смешивая любовные чувства и выдумки о том, что его дед якобы повесил в Болдино француза-учителя: “Наша свадьба точно бежит от меня; и эта чума с её карантинными — не отвратительнейшая ли это насмешка, какую только могла придумать судьба? Мой ангел, ваша любовь — единственная вещь на свете, которая мешает мне повеситься на воротах моего печального замка (где, замечу в скобках, мой дед повесил француза-учителя, аббата Николая, которым был недоволен). Не лишайте меня этой любви и верьте, что в ней всё моё счастье.

Позволяете ли вы обнять вас? Это не имеет никакого значения на расстоянии 500 верст и сквозь 5 карантинных. Карантины эти не выходят у меня из головы”.

В письме к Плетнёву от 29 сентября Пушкин упомянул в качестве смешного случая и свое выступление перед крестьянами: “. . . Я бы хотел переслать тебе проповедь мою здешним мужикам о холере; ты бы со смеху умер, да не стоишь ты этого подарка”. Дело в том, что Пушкина, как и многих других дворян, обязали проводить среди местных жителей разъяснительную работу о том, что такое холера и как от неё уберечься. И он, как вспоминала жена нижегородского губернатора А. П. Бутурлина, на вопрос, что же он делал

в Болдино, отвечал, что “говорил проповеди... Да, в церкви, с амвона, по случаю холеры. Увещевал их. “И холера послана вам, братцы, оттого, что вы оброка не платите, пьянствуете, а если вы будете продолжать так же, то вас будут сечь. Аминь”.

Смех смехом, но Пушкину было предложено Лукояновским уездным предводителем дворянства принять должность по надзору за холерными карантинами. Поэт, сославшись на то, что он не помещик здешней губернии, отказался и в ответ не получил от начальства в начале октября разрешение на проезд до Москвы. Позже, находясь в Лукоянове, то же самое требование Пушкин выслушал не от кого-нибудь, а от самого министра внутренних дел А. А. Закревского, отвечавшего за борьбу с холерой во всей России. И всё равно поэт смог увильнуть тогда в итоге от исполнения такого сложного и рискованного поручения...

Готовясь отправиться в Москву в конце сентября, Пушкин сначала узнал от соседки по имению княгини А. С. Голицыной, что до Москвы его ждут 5 карантин, в каждом из которых придётся провести по 14 дней, он написал об этом невесте, а потом предпринял первую попытку прорваться в столицу. Как Пушкин сам сообщал в своей записке “О холере”, “вдруг 2 октября получаю известие, что холера в Москве. Страх меня пронял – в Москве... но об этом когда-нибудь после. Я тотчас собрался в дорогу и поскакал. Проехав 20 верст, ямщик мой останавливается: застава!

Несколько мужиков с дубинами охраняли переправу через какую-то речку. Я стал расспрашивать их. Ни они, ни я хорошенько не понимали, зачем они стояли тут с дубинами и с повелением никого не пускать. Я доказывал им, что, вероятно, где-нибудь да учреждён карантин, что я не сегодня, так завтра на него наеду, и в доказательство предложил им серебряный рубль. Мужики со мной согласились, перевезли меня и пожелали многие лета”.

Однако Пушкину всё равно пришлось вернуться назад. И после этого у него не могло не испортиться настроение в создавшейся критической ситуации: “Что до нас, то мы оцеплены карантинами, но зараза к нам ещё не проникла. Болдино имеет вид острова, окружённого скалами”. Вот выдержки из его писем того времени: “я совершенно пал духом”, “в каком я должен быть сквернейшем настроении”, “собачьем настроении”, “я бешусь”, “будь проклят тот час, когда я решился... пуститься в эту прелестную страну грязи, чумы и пожаров”, “и эта чума, с её карантинами, – разве это не самая дрянная шутка, какую судьба могла придумать?”, “проклятая холера! Ну, как не сказать, что это злая шутка судьбы?”

Всё происходившее поэт возвёл в разряд судьбоносных событий. Вот как он писал о холерных опасностях в своих гениальных “Дорожных жалобах”, рождённых в Болдино и вобравших в себя все злоключения поэта на жизненных дорогах:

*Иль чума меня подцепит,
Иль мороз окостенит,
Иль мне в лоб шлагбаум влепит
Непворный инвалид.*

*Иль в лесу под нож злодею
Попадуся в стороне,
Иль со скуки околею
Где-нибудь в карантине.*

Но поэт всё-таки нашёл в себе силы “не зачахнуть” и “не околеть со скуки” в вынужденном карантине. Он в итоге признал для себя неизбежность, как бы мы себе сейчас сказали, **самоизоляции**, и это позволило ему сформулировать для нас ещё один **важный – третий по счёту – совет выживаемости в экстремальных условиях эпидемий**. Послушаем, как он изложил его в письме к невесте 11 октября: “**Добровольно подвергать себя опасности заразы было непростительно**. Я знаю, что всегда преувеличивают картину опустошений и число жертв; одна молодая женщина из Константинополя говорила мне когда-то, что от чумы умирает только простонародье, – всё это прекрасно, но **всё же порядочные люди тоже должны принимать меры предосторожности, так как именно это спасает их, а не их изящество и хороший тон**”.

Пушкин ещё не раз говорил о необходимости соблюдать строгие меры, осуждая тех, кто **“ропщет, не понимая строгой необходимости и предпочитая зло неизвестности и загадочное непривычному своему стеснению”**, и отвергая миф о холере, что **“порядочные люди никогда от неё не умирают, как говорила маленькая гречанка”**.

Важно, что к таким выводам Пушкин пришёл, несмотря на свой опыт “легкомысленного отношения к опасностям”, приобретённый им во время путешествия в Арзрум. В письме к Плетнёву около 29 октября он ещё раз вспомнил об этом опыте: “Знаю, что не так страшен чёрт, як его малюют; знаю, что холера не опаснее турецкой перестрелки, да отдалённость да неизвестность — вот что мучительно”.

О том, как осторожен был Пушкин, свидетельствует и его письмо к невесте в начале ноября с осуждением поведения дворян, прятавшихся от эпидемии именно в зачумлённой Москве, хотя они имели возможность покинуть столицу: “Как вам не стыдно было оставаться на Никитской во время эпидемии? Так мог поступать ваш сосед Адриян, который обделывает выгодные дела. Но Наталья Ивановна, но вы! — право, я вас не понимаю”. А в письме к композитору А. Н. Верстовскому поэт давал вот такие советы против холеры своему другу Нащокину: “Итак, пускай он купается в хлоровой воде, пьёт мяту — и, по приказанию графа Закревского, **не предаётся унынию**”.

5. “Пир во время чумы”, или Приметы пушкинской мудрости

Болдинская осень подарила нам расцвет драматургического таланта Пушкина, проявившегося ранее в “Борисе Годунове”. И создавая свои “Маленькие трагедии”, поэт не мог обойти темы эпидемий, обратившись почти единственный раз в своей жизни к переводческому ремеслу: попытке перевода, скорее, впрочем, переложения с отсечением лишнего и усилением важного, трагедии не очень известного в то время шотландского поэта Джона Вильсона (1785–1854) “Чумной город”, посвящённой событиям “великой чумы” 1665 года, унесшей в могилу 68 тысяч человек. Пушкин написал лишь одну неполную сцену трагедии (в оригинале было три акта в тринадцати сценах), и поэтоу обозначил в подзаголовке: “Из вильсановой трагедии: The city of plague”.

В этой краткой сцене поэт уместил и картины чумного ужаса, когда кругом правит “зараза, гостя наша”, и преступную беспечность пирующих во время чумы: “Но много нас ещё живых, и нам // Причины нет печалиться”, — и воспоминания о былой благодатной жизни, которые живописует поющая Мери:

*Было время, процветала
В мире наша сторона:
В воскресенье бывала
Церковь Божия полна;
Наших деток в шумной школе
Раздавались голоса,
И сверкали в светлом поле
Серп и быстрая коса.
Ныне церковь опустела;
Школа глухо заперта;
Нива праздно перезрела;
Роща тёмная пуста;
И селенье, как жилище
Погорелое, стоит, —
Тихо всё. Одно кладбище
Не пустеет, не молчит.*

Председатель Вальсингам, самая трагическая фигура действия, потерявший во время чумы и жену, и мать, поёт “Гимн в честь чумы”, в котором безрассудство пиршества пытается оправдать ставшими хрестоматийными словами об “упоении в бою”:

*Как от проказницы Зимы,
Запрёмся так же от Чумы!*

*Зажжём огни, нальём бокалы,
Утопим весело умы
И, заварив пиры да балы,
Восславим царствие Чумы.*

*Есть упоение в бою
И бездны мрачной на краю,
И в разъярённом океане,
Средь грозных волн и бурной тьмы,
И в аравийском урагане,
И в дуновении Чумы.*

*Всё, всё, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья —
Бессмертья, может быть, залог!
И счастлив тот, кто средь волненья
Их обрести и ведать мог.*

Вроде бы это гимн смелости, бесстрашию и героизму, гимн людям, идущим напролом, опасностям навстречу, но не на фоне же чумы такой героизм следует проявлять! И, конечно, весь этот пафос осуждается самим автором, который вводит в действие Священника, призывающего прекратить постыдный пир и обратиться к молениям:

*Я заклинаю вас святою кровью
Спасителя, распятого за нас:
Прервите пир чудовищный, когда
Желаете вы встретить в небесах
Утраченных возлюбленные души.
Ступайте по своим домам!*

Но Председатель, не желающий подчиняться, отвечает: “Домá у нас печальны — юность любит радость”. Анна Ахматова говорила, что ни в одном из творений мировой поэзии не звучат так резко вопросы морали, как в “Пире во время чумы”. И, конечно, Пушкин вложил в эту трагедию свои размышления о том, как надо вести себя в условиях будоражающей сердце опасности, отсюда его знаменитое: “Есть упоение в бою, и бездны мрачной на краю...”.

Болдинская осень вообще оказалась переломным моментом в судьбе Пушкина, в эти три месяца поэт фактически закончил своё главное творение — “Евгения Онегина”, укрепил себя в роли драматурга со своими гениальными “Маленькими трагедиями”, сказочника, укреплявшего традиции русской национальной сказки, и литературного критика, живо откликающегося на новинки литературы, а главное — он всё больше и больше склонялся к прозе, сделал заявку на это своими неожиданными “Повестями Белкина”. В последующие годы Пушкин всё более явно становился прозаиком (вспомним: “Лета к суровой прозе клонят...”) и историком, причём профессиональным, с постоянной работой в архивах и изучением первоисточников. А чисто поэтические занятия постепенно уходили у него на второй план.

По сути, именно в Болдино Пушкин пережил высший расцвет своего поэтического творчества. Об этом могут свидетельствовать хотя бы такие примерные цифры: если в 1828–1830 годах Пушкин, не считая поэм, сказок и драм, ежегодно сочинял около 50 лирических стихотворений, то в 1831–1832 годах таких стихотворений появлялось уже не более 10 в год, в 1833–1834 годах — не более 20, в 1835 году — около 25, а в 1836-м — всего лишь около 15. А ведь только в Болдино за 80 дней родилось более 30 стихотворений, да ещё каких!

А что касается личной жизни поэта, то сразу после Болдина его ждала свадьба, появление потомства и совсем иная шестилетняя семейная жизнь, во многом поменявшая образ его существования. Пушкин как будто бы чувствовал в болдинские дни, что он оказался на переломе своей судьбы, и потому посчитал необходимым, что называется, высказаться по полной. Холера,

смерть дяди, хлопоты о деньгах и ещё не устроенной свадьбе, раздумья о счастье, любви и смерти – всё это соединилось тогда странным образом. Всплеск творчества и жизненных коллизий поэта осенью 1830 года не мог не вылиться в потрясающие духовные, философские и эмоциональные открытия, наполнившие его строки биением чувств. Не углубляясь в литературоведческий анализ рождённых в Болдино произведений, приведём лишь самые яркие жемчужины пушкинского гения того периода, связанные с темой настоящей статьи.

Поразительно, но во многих болдинских творениях, причём не только первого периода заточения, сквозит мрачное настроение поэта, да ещё и овеянное постоянным дыханием смерти и даже бесовщины. Взять хотя бы первое стихотворение, рождённое в Болдино – “Бесы”, в котором “бесы разны” просто роятся вокруг, сбивая поэта с пути. Причём в те погожие осенние дни поэт писал почему-то именно о “мутной вьюге” и снеге, ему было “поневоле страшно”, а сердце его “надрывалось”:

*Мчатся тучи, вьются тучи;
Невидимкою луна
Освещает снег летучий;
Мутно небо, ночь мутна.
Еду, еду в чистом поле;
Колокольчик дин-дин-дин...
Страшно, страшно поневоле
Средь неведомых равнин!..*

*Бесконечны, безобразны,
В мутной месяца игре
Закружились бесы разны,
Будто листья в ноябре...
Сколько их! куда их гонят?
Что так жалобно поют?
Домового ли хоронят,
Ведьму ль замуж выдают?..*

*Мчатся бесы рой за роем
В беспредельной вышине,
Визгом жалобным и воем
Надрывая сердце мне...*

Старый Бес и бесёнок появляются также в “Сказке о попе и о работнике его Балде”, которую, кстати, Пушкин так и не закончил, наметив план того, как Балда попадает к царю и спасает его дочь, одержимую бесом. В “Сказке о медведихе” мужик рогатиной вспорол брюхо медведихи, забрал домой трёх медвежат, заставив горевать “вдовца горемычного” медведя. Тема смерти явно звучит и в “Гробовщике”, где герой повести Адриан Прохоров зовёт на своё новоселье “мертвецов православных”, а те приходят к нему в гости, но только во сне. В “Станционном смотрителе” главный герой повести умирает после того, как его дочь сбежала с гусаром, а он спивается в отчаянии от этого. В повести “Выстрел”, в основе которой лежит дуэльная история, её герой Сильвио погибает в конце повествования во время греческого восстания. “Скупой рыцарь” завершает сцена смерти Барона, вызывающая заключительные слова Герцога: “Он умер. Боже! // Ужасный век, ужасные сердца!” (Как будто поэт говорит о нашем, XXI веке!!!). И прекрасно известно, что коварное отравление Моцарта ядом, брошенным в его стакан Сальери, составляет главный стержень известной трагедии Пушкина (“Гений и злодейство – // Две вещи несовместные”). А статуя Командора является в “Каменном госте” перед Доном Гуаном, и “пожатые каменной десницы” становится мстостью за грехи последнего: “Я гибну – кончено – о, Дона Анна!”

В уже цитировавшихся “Дорожных жалобах” поэт вообще много раз предполагает, как ему суждено будет погибнуть: “На большой мне, знать, дороге // Умереть господь судил...” И не мудрено, что он мечтает оказаться в Москве, как бы призывая нас сегодняшних “сидеть дома”, или, другими словами, **самоизолироваться**:

*То ли дело быть на месте,
По Мясницкой разъезжать,
О деревне, о невесте
На досуге помышлять!
То ли дело рюмка рома,
Ночью сон, поутру чай;
То ли дело, братцы, дома!..
Ну, пошёл же, погоняй!..*

Даже в любовной лирике болдинской осени, наполненной печальными мотивами, то и дело сквозит тема смерти. Так, в “Прощании” поэт “в последний раз” прощаясь, вероятнее всего, с “милым образом” Елизаветы Воронцовой, выражает свою горечь, вспомнив о своём заточении:

*Бегут, меняясь, наши лета,
Меняя всё, меняя нас.
Уж ты для своего поэта
Могильным сумраком одета,
И для тебя твой друг угас.*

*Прими же, дальняя подруга,
Прощанье сердца моего,
Как овдовевшая супруга,
Как друг, обнявший молча друга
Пред заточением его.*

А в пушкинском стихотворении “Заклинание”, которое является откликом на мистическое стихотворение Барри Корнуолла, обращённое к умершей возлюбленной, вообще присутствуют загробные картины. Автор ночью, когда “пустеют тихие могилы” зовёт к себе тень мёртвой Леилы, хотя и уточняет, что делает это не для того, “чтоб изведать тайны гроба”:

*Явись, возлюбленная тень,
Как ты была перед разлукой,
Бледна, холодна, как зимний день,
Искажена последней мукой.*

*Приди, как дальняя звезда,
Как лёгкий звук иль дуновенье,
Иль как ужасное виденье,
Мне всё равно: сюда, сюда!..*

В образе Леилы Пушкин мог зашифровать, по мнению пушкинистов, ещё одну свою давнюю любовь к Амалии Ризнич, которая умерла от чахотки в Италии. А за несколько дней до отъезда Пушкина из Болдино он написал ещё одно стихотворение–прощание с прошлой любовью, в котором из “края мрачного изгнания” возлюбленная (не Амалия ли Ризнич снова?) звала поэта в “край иной”:

*Но там, увы, где неба своды
Сияют в блеске голубом,
Где тень олив легла на воды,
Заснула ты последним сном.*

*Твоя краса, твои страданья
Исчезли в урне гробовой —
А с ними поцелуй свиданья...
Но жду его; он за тобой...*

Как видим, мрачные настроения, да ещё с налётом смертельного ореола, то и дело проявлялись у поэта в болдинские дни, но Пушкин не был бы Пушкиным, если бы не находил и в тех гнетущих обстоятельствах лучи света и надежды, а также поводы для стойкости, весёлости и даже озорства, как он это

сделал в поэме “Домик в Коломне”, в своих сказках и в письмах к друзьям. Знаковым здесь можно считать гениальное стихотворение “Элегия”, в котором поэт, несмотря на “угасшее веселье”, печаль, “унылый путь” и горе, верит в будущее:

*Безумных лет угасшее веселье
Мне тяжело, как смутное похмелье.
Но, как вино, — печаль минувших дней
В моей душе чем старе, тем сильней.
Мой путь уныл. Сулит мне труд и горе
Грядущего волнуемое море.*

*Но не хочу, о други, умирать;
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать;
И ведаю, мне будут наслажденья
Меж горестей, забот и треволненья:
Порой опять гармонией упьюсь,
Над вымыслом слезами обольюсь,
И, может быть, на мой закат печальный
Блеснёт любовь улыбкою прощальной.*

Пушкин в этом стихотворении провидчески увидел свой дальнейший жизненный путь, в котором труд, горести, заботы и треволненья будут соседствовать и с наслажденьями, и с творческой гармонией, и главное — с любовью! Поэту ещё рано было умирать, не сделав того, что предназначено судьбой, и он откровенно говорит о своём желании жить и о смысле человеческого бытия: “мыслить и страдать”. В черновиках было: “и мечтать...” Но поэт сделал важную замену, понимая, что в страданиях скрыта тайна жизни.

Поэт не верил в счастье (“На свете счастья нет...”) и в письме к П. А. Осиповой из Болдино прямо признавался: “В вопросе счастья я атеист; я не верю в него”. Но он всё равно в глубине души ждал этого счастья и надеялся, что его улыбка всё-таки блеснёт ему на склоне лет, потому-то он и добивался так яростно своей свадьбы. И искомое счастье в оставшиеся годы, без сомнения, ему улыбнулось, хотя, может быть, и не в такой степени, как этого хотелось, и не в том обличии, как это рисовалось ранее. Не случайно же тотчас после свадьбы у Пушкина вырвалось: “Одно желание моё, чтоб ничего в жизни моей не изменилось...”

А пока в Болдино поэт искал для себя опору не только в творчестве и надежде на улыбку судьбы, но и в обращении к истории своего Отечества, что явно проявилось и в последних главах “Евгения Онегина”, в том числе в десятой, и в обращении поэта к его родословной, и в выведенной поэтом формуле патриотизма:

*Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.*

*Животворящая святыня!
Земля была б без них мертва,
Как пустыня
И как алтарь без божества.*

Любопытно, что в черновиках этого стихотворения Пушкиным были зачёркнуты такие слова и строки: “Они священны человеку... И ты к отечеству любовь... Святыня... Семья...” В рукописи осталось и зачёркнутое автором четверостишие, продолжавшее размышление о “двух чувствах”:

*На них основано от века
По воле Бога самого
Самостоянье человека,
Залог величия его.*

“Самостоянье человека”, его свобода, достоинство и независимость всегда были жизненным идеалом поэта, и он не мог не выразить ещё раз свои пристрастия на болдинском переломе судьбы.

Завершив в Болдино “Путешествие Онегина”, в котором его герой странствует именно по родным просторам, а не по границам, Пушкин, потерявший уже надежду на свои собственные путешествия в дальние страны, делает знаменательный поворот в своём давнем стремлении к побегу: теперь уже не за океаны и моря, а в северные русские дали, что впоследствии отразится на многих его произведениях. А в болдинском заточении поэт в стихотворении “Когда порой вспоминанье...” откровенно признаётся, что, когда “в пустыню скрыться я хочу”,

*Тогда, забывшись, я лечу
Не в светлый край, где небо блещет
Неизъяснимой синевою,
Где море тёплой волной
На пожелтый мрамор плещет,
И лавр и темный кипарис
На воле пышно разрослись,
Где пел Торквато величавый,
Где и теперь во мгле ночной
Далече звонкою скалой
Повторены пловца октавы...*

*Стремлюсь привычною мечтою
К студёным северным волнам.
Меж белоглавой их толпою
Открытый остров вижу там.
Печальный остров — берег дикий
Усеян зимнею брусникой,
Увядавшей тундрой покрыт
И холодной пеною подмыт.
Сюда порою приплывает
Отважный северный рыбак,
Здесь невод мокрый расстилает
И свой разводит он очаг.
Сюда погода волновая
Заносит утлый мой челнок...*

Заметим: поэт хочет бежать не в тёплую Италию с мрамором, кипарисами и скалами (как странно, что именно там сейчас свирепствует эпидемия коронавируса!), а в дикие зимние края, под которыми, по мнению пушкинистов, поэт скрывал или Соловецкие острова, или остров Голодай на окраине Петербурга, где были захоронены тела декабристов. В любом случае, тяга к родной земле возрастала у Пушкина в последние годы его жизни, но это тема уже другого исследования.

6. Как не зачахнуть в карантине, или Главный завет Пушкина

Пушкину в Болдино в октябре 1830 года приходилось не раз опровергать в своей переписке слух, что он “холерой схвачен или зачах в карантине”. Его больше всего тревожила неизвестность: где же его невеста? Успела ли она с семьёй покинуть Москву? А писем от неё всё не было и не было. Пушкин готовился даже получать уже знакомые ему по чумному карантину в Гумрах проколотые для окуривания хлором или известью письма: “В чумное время дело другое; рад письму проколотому; знаешь, что по крайней мере жив, и то хорошо”.

Только 26–27 октября из пришедшего от Натальи Николаевны письма он узнал, что Гончаровым пришлось пережить эпидемию в самой Москве. И вскоре, 9 ноября, Пушкин решается на новый побег из карантина, он пересекает всю Нижегородскую губернию и около Муромы въезжает во Владимирскую губернию, где его около деревни Севастлейки задерживают в карантине

и отправляют назад. Поэт едет в Лукоянов и требует свидетельства, что он следует не из зачумленного места, и подорожную до Москвы, но получает отказ. Он пишет жалобу губернатору в Нижний Новгород и возвращается в Болдино, проехав почти 420 верст и потеряв несколько дней на это путешествие. И вскоре опять признаёт необходимость **“самоизоляции”**: **“...Я не стану больше торопиться; пусть всё идёт своим чередом, я буду сидеть сложа руки”**.

Наконец, 27 или 28 ноября Пушкин всё-таки получает из Нижнего Новгорода свидетельство на проезд до Москвы, и 29 ноября туда выезжает. Однако 1 декабря в деревне Платав (ныне деревня Платова Орехово-Зуевского района Московской области), в 70 верстах от Москвы, поэт был остановлен. **“Я задержан в карантине в Платаве: меня не пропускают, потому что я еду на перекладной; ибо карета моя сломалась, — писал он невесте. — Умоляю вас сообщить о моём печальном положении князю Дмитрию Голицыну (генерал-губернатору Москвы. — С. Д.) — и просить его употребить всё своё влияние для разрешения мне въезда в Москву... Или же пришлите мне карету или коляску...”** И Пушкину повезло: вместо 14 дней, благодаря чьему-то вмешательству, он пробыл в карантине только 3 дня (так же, как и в Гумрах в 1829 году) и уже 5 декабря добрался до белокаменной. Болдинская осень подошла к концу...

Однако эпидемия холеры в России ещё продолжалась. Затихнув в декабре, весной 1831 года, с наступлением тёплых дней она вновь вернулась в Москву, но в более скромных масштабах. Её распространение перекинулось тогда на запад, в Петербург и Польшу, а оттуда и в Европу. И Пушкин, который, по его собственным словам, после Болдина **“оброс бакенбардами, остригся под гребешок — остепенился, обрюзг, — но это ещё ничего — я сговорён... и женюсь”**, вступал в новую полосу своей судьбы. И поэт передал нам из того времени **ещё один — четвёртый — совет, как выживать во время эпидемий**. Он писал Е. М. Хитрово 9 декабря, сразу после возвращения в столицу: **“Россия нуждается в покое. Я только что проехал по ней... Народ подавлен и раздражён. 1830-й год — печальный год для нас! Будем надеяться — всегда хорошо питать надежду”**.

“Надеяться!” — вот главный завет поэта, переданный им нам через века и годы. И хотя 2020-й, високосный год мы тоже можем назвать **“печальным годом”**, его испытания рано или поздно завершатся, и мы будем потом вспоминать о нём, как о частице прошлого...

Первые признаки холеры появились в Петербурге ещё в апреле 1831 года, вызвав, в отличие от Москвы в предыдущем году, сильную панику. Коварность болезни и её ужасные симптомы породили поверье, что люди заболевают и умирают вследствие отравлений, в которых замешаны доктор и полиция. А в связи с тем, что появление холеры совпало по времени с польским восстанием, многие приписывали отравления проискам поляков, посыпавших якобы ядом посадку овощей и воду. Толпы людей начали бродить по улицам и избивать тех, кто казался им отравителями. Во время вспыхнувшего в июне 1831 года в Петербурге холерного бунта на Сенной площади была разорена расположенная там больница, а несколько медиков и полицейских были убиты. Почти трое суток бунтовавшие делали в городе, что хотели. На Сенную площадь пришлось вывести войска, и вновь народ успокоило лишь появление самого императора Николая I, снова проявившего себя героем.

После ослабления холеры в Петербурге она появилась в Финляндии и дошла в итоге через всю Европу до Лондона. О размахе страшной эпидемии, прокатившейся по России, свидетельствуют громкие имена её жертв даже среди самых высших слоёв общества: несостоявшийся император Константин Павлович, знаменитый аристократ Н. Б. Юсупов, бывший московский генерал-губернатор Ю. В. Долгоруков и бывший министр внутренних дел В. С. Ланской, генерал-фельдмаршал И. И. Дибич, командовавший тогда действующей армией. Кроме того, умерли живописец Александр Иванов, балерина Авдотья Истомина, художник-декоратор Пьетро Гонзаго, архитектор Карл Росси, пианистка Мария Шимановская, славянофил Иван Киреевский, герои Отечественной войны 1812 года Александр Ланжерон и Василий Костенецкий, мореплаватели Василий Головнин и Гаврила Сарычев. По официальным данным министерства внутренних дел, из 466 457 заболевших холерой в целом в России умерло 197 069 человек, а в Москве погибло 4 846 человек, то есть только 2 процента всех умерших.

18 января 1831 года, через полтора месяца после возвращения в Москву, Пушкин, узнав о смерти своего друга А. И. Дельвига, которую он перенёс очень тяжело (“вот первая смерть, мной оплаканная... никто на свете не был мне ближе Дельвига”), констатировал: “Нечего делать! Согласимся. Покойник Дельвиг. Быть так. Баратынский болен с огорчения. **Меня не так легко с ног свалить. Будь здоров – и постараемся быть живы**”.

Постараемся быть живы! – вот ещё один – пятый – завет Пушкина. В июле 1831 года, когда холера вновь сильно проявила себя, особенно в Петербурге, Пушкин в письме к другу Плетнёву, утешая того после смерти Дельвига и его близкого приятеля Молчанова, сказал, пожалуй, свои **главные слова** об отношении к напастям эпидемий: **“Опять хандришь. Эй, смотри: хандра хуже холеры, одна убивает только тело, другая убивает душу.** Дельвиг умер, Молчанов умер; погоди, умрёт и Жуковский, умрём и мы.

Но жизнь всё ещё богата; мы встретим ещё новых знакомцев, новые созреют нам друзья, дочь у тебя будет расти, вырастет невестой, мы будем старые хрычи, жены наши – старые хрычовки, а детки будут славные, молодые, весёлые ребята; а мальчики станут повесничать, а девчонки сентиментальничать; а нам то и люблю.

Вздор, душа моя; **не хандри – холера на днях пройдет, были бы мы живы, будем когда-нибудь и веселы**”.

Не хандрить! Коронавирус “на днях пройдёт”, будем и “мы живы и веселы”! Эти слова следовало бы адресовать сегодня миллионам россиян. И чем является этот призыв, как не важным лекарством при любых инфекционных напастях?

7. “Лекарство от холеры” и Пушкин

И здесь мы подходим к одной загадке, ещё не до конца расшифрованной филологами: а кто же был автором известного в России и ходившего по рукам стихотворения “Лекарство от холеры”, о котором упоминалось в начале статьи? Как утверждает исследователь-пушкинист А. В. Дубровский, специально занимавшейся этой темой, некий аноним в условиях обострения холеры, охватившей Петербург, специально поставил подпись широко известного “национального” поэта под своим стихотворением, чтобы сделать “этот текст популярным в народе”. И Пушкин в данном случае вовсе не нуждался в защите Гоголя: “Вероятнее всего, поэт попросил Гоголя опровергнуть его авторство в случае с приписываемой ему пресловутой “Первой ночью” – и Гоголь откликнулся на эту просьбу в статье “Несколько слов о Пушкине”. Что же касается “Лекарства от холеры”, о котором поэт никогда не упоминал, то Гоголь (во второй редакции своей комедии) просто пустил читателя по ложному следу...”

В Рукописном отделе Пушкинского Дома хранятся пять списков “Лекарства от холеры” под именем А. Пушкина, отличающиеся друг от друга лишь старинными мерами аптекарских весов (гран, лот, драхма, унция). Вот как выглядит текст одного из вариантов этого стихотворения, которое представляет собой очень интересный исторический источник, и не только потому, что его приписывали Пушкину. В нём мы можем увидеть действительно всеобъемлющий рецепт того, как можно побороть даже страшную болезнь, если соединить в одном эликсире и противопоставить ей рассудок, доброту, веру, терпение, совесть, мудрость и молитву:

Лекарство от холеры

*Возьми разсудка восемь гранов,
Пять лотов сердца доброты,
Шесть драхм сердечных минералов,
И столько мыслей простоты,
Толки всё это камнем веры,
Прибавь терпения без меры,
Сквозь сито совести просей,
И в чашу мудрости глубоко
Сто унций умственного соку*

*На специи сии налей,
Покрой игрой воображенья,
Молитвой тёплой согрей.
Тогда ты в этом эликсире
Найдёшь всё то, что нужно в мире
С блаженством лестным для людей,
Сядь пред зеркалом природы,
Сочти лета свои и годы
И понемножку капли пей.*

А. Пушкин

Честно говоря, это стихотворение, напиши его сам Пушкин, ничуть не испортило бы его наследие, а кто в действительности написал эти строки, даст Бог, ещё выяснится в будущем...

В 1831 году Пушкин продолжал внимательно следить за ситуацией с распространением в стране холеры, становясь постепенно знатоком этой темы, в том числе и в экономическом аспекте. Так, он занёс в свою записную книжку: "Покамест полагали, что холера прилипчива, как чума, до тех пор карантинны были зло необходимое. Но коль скоро начали все замечать, что холера находится в воздухе, то карантинны должны были тотчас быть уничтожены... В прошлом году карантинны остановили всю промышленность, заградили путь обозам, привели в нищету подрядчиков и извозчиков, прекратили доходы крестьян и помещиков и чуть не взбунтовали 16 губерний". В другом месте Пушкин писал уже скорее как социолог и историк: "Народ ропщет, не понимая **строгой необходимости карантинны и предпочитая зло неизвестной заразы непривычному своему стеснению быта**".

В 1830-1831 годах Россия пережила страшную эпидемию холеры. Но та ещё не раз собирала в стране и в мире кровавую жатву. И каждый раз казалось, что речь снова идёт о выживании. Почти через 18 лет после Болдинской осени В. А. Жуковский, попавший в Европе в водоворот вновь наступавшей повсюду холеры (вот тебе и спасительная Европа!), только и мечтал оказаться поскорее в России. Он писал П. А. Вяземскому 23 июля 1848 года: "...Я куврыкаюсь в воздухе между ракетами двух холер. И при этом какое разорение для кармана! И при всех этих удовольствиях надо ещё слышать и **слушать вой этого всемирного вихря, составленного из разных бесчисленных криков человеческого безумия, вихря, который грозит поставит всё вверх дном...**"

Вот и 2020 год начался с **воя нового всемирного вихря**, который опять грозит поставит всё вверх дном: **теперь уже вихря коронавируса!** Но Россия переживёт и этот вихрь, как она переживала ещё более страшные испытания. А чтобы всем нам быстрее и легче затушить этот очередной вихрь, следует обращаться к опыту прошлого и к пушкинским заветам, звучащим спасительно и мудро: **коронавирус "на днях пройдёт", будем и "мы живы и веселы"!**

Вёшки, 7-14. 04. 2020